

Librarium

ШАРЛЬ БОДЛЕР

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ



РИПОЛ КЛАССИК

Librarium

Шарль Бодлер
Стихотворения в прозе

«РИПОЛ Классик»

1869

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)5-44

Бодлер Ш.

Стихотворения в прозе / Ш. Бодлер — «РИПОЛ Классик»,
1869 — (Librarium)

ISBN 978-5-386-14379-4

В 1869 году Шарль Бодлер написал «Petits poemes en prose: Le Spleen de Paris» – «Стихотворения в прозе: Парижский сплин». Великий поэт продолжает жанровую традицию, уже представленную во французской литературе в конце XVIII – начале XIX вв. в творчестве Э. Парни и А. Бертрана. Произведения представлены в переводах Л. Гуревич и С. Парнок. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)5-44

ISBN 978-5-386-14379-4

© Бодлер Ш., 1869
© РИПОЛ Классик, 1869

Содержание

Бодлер и его творчество	6
I	6
II	9
III	12
Посвящение. Арсену Гуссэ	14
Стихотворения в прозе	15
I. Чужестранец	15
II. Горе старухи	16
III. Исповедь художника	17
IV. Шутник	18
V. Двойная комната	19
VI. У каждого своя химера	21
VII. Шут и Венера	22
VIII. Собака и флакон	23
IX. Плохой стекольщик	24
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Шарль Бодлер

Стихотворения в прозе

© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»,
2021

Бодлер и его творчество

I

Произведения Шарля Бодлера до последнего времени, не только в России, но и во Франции, были достоянием лишь избранных литературных и художественных кругов. Сложная, болезненная, полная трагических противоречий душа поэт отраженная с беспощадной и утонченной правдивостью в этих произведениях, могла быть понятна лишь немногим. Вышедший еще при жизни его, в 1857 г., сборник его стихотворений под оригинальным и дерзким для того времени заглавием «Цветы зла», вызвал судебное преследование со стороны правительства Наполеона III и произвел впечатление скандала. Блюстители традиционной морали усмотрели в этой книге проповедь безнравственности, апологию зла. Представители академической литературы негодовали и недоумевали: поэт представлял собою в их глазах какую-то новую, непредусмотренную ими разновидность литературной ереси. Романтик по своим вкусам, по характеру воображения, влекущегося к самым необыкновенным темам и преобразующего в нечто фантастическое всякий клочок наблюденной действительности, Бодлер в то же время ошеломлял смелостью своих лирических признаний, вскрывающих человеческую душу – его собственную человеческую душу – в ее самых интимных, жгучих и утонченных ощущениях, в наиболее удаленных от сознания центрах ее сладострастной любви к жизни, сменяющейся отвращением к жизни. Он поражал своим стилем – «стилем декаданса», по выражению Теофиля Готье, – передающим и тончайшие гармонии, и кричащие диссонансы человеческих переживаний, иногда благородно-простым и деликатным, иногда ярко-красочным, чувственным, экзотически-образным, иногда логически-беспощадным и едким или парадоксальным и кощунственно-дерзким. И при всем том этот своеобразный поэт, этот предтеча декадентов проявлял необычайную требовательность к себе в своей художественной работе, любил строгую форму сонета и как истинный классик добивался безусловной точности каждого слов необыкновенной сжатости каждой фразы.

«Цветы зла» вызвали сенсацию, заставили наиболее значительных, и чутких писателей-современников признать Бодлера первоклассным мастером, создали ему группу фанатических приверженцев из литературной молодежи, но большая часть публики не поняла и не оценила этой книги, в которую поэт, по его собственному признанию в одном из опубликованных писем, «вложил все свое сердце, всю свою нежность, всю свою религиозность – в замаскированном виде, всю свою ненависть».

Такова же была судьба его «Стихотворений в прозе», часть которых еще при жизни его печаталась в разных журналах и газетах и которые были оценены во всем их поэтическом значении лишь такими проницательными критиками, как Сент-Бев. Статьи Бодлера об искусстве – о живописи, музыке и поэзии, составившие в посмертном издании два тома под названием *Curiosités esthétiques* и *L'art romantique*, эти изумительные критические статьи, полные тончайших замечаний и бессмертных афоризмов о сущности искусства и художественного творчества тоже не могли создать Бодлеру популярности. Острый, сильный и беспокойный ум его, отвергающий все банальное, все, отмеченное дешевым успехом, смотрел в глубину всякой проблемы и на десятки лет опережал суждения современников. Истинный аристократ в своих непосредственных художественных вкусах, Бодлер-критик обходил презрительным молчанием самых авторитетных людей своего времени и как неустанный искатель правды и красоты высшего порядка, отмечал своим вниманием гениев, одиноко борющихся за свои художественные методы и идеи. Тогда беспощадный и ядовитый судья превращался в страстного защитника, в фанатического приверженца и преданного и великодушного друга гонимых или незамеченных

толпой. Он одним из первых в Европе оценил значение Рихарда Вагнера, и его статья о «Тангейзере» явилась для творца новой музыкальной драмы по его собственному свидетельству в письме к Бодлеру высшей отрадой и лучшим ободрением в этот первый период его творческой работы и борьбы. По нескольким небольшим новеллам Бодлер сразу угадал всю глубину родственного ему таланта Эдгара По, еще совершенно неизвестного тогда в Европе, и своими бесподобными переводами и своими проникновенными статьями сделал его произведения достоянием европейской литературы. В заметках о живописи он прославлял Делакруа, на которого со всех сторон сыпались ожесточенные нападки, страстно защищал оплеванного критикой Эдуарда Манэ, раскрывал значение неочтенных до него гениальных рисунков Домье.

Но чем острее был его взгляд, чем смелее выдвигал он осмеянных современниками людей будущего, чем суровее судил об эфемерных увлечениях своей эпохи, тем непонятнее, тем неприятнее был он для буржуазной толпы и для банальной критики, создающей репутацию писателя.

К тому же его мысль, точно также как его поэтическое воображение, постоянно возвращалась к самым рискованным темам: ее манили неисследимые пропасти порока, первозданного зла и патологических влечений человеческой души. В ярких, волнующих словах описывал он в своих этюдах действие гашиша и опия, соблазны искусственных упоений, и читатели были несклонны верить искренности того сурового приговора, какой он выносил этим расслабляющим волю опытам: они чувствовали, что поэт сам не миновал этих искушений, но той борьбы, которая разыгрывалась на этой почве в его душе, они не угадывали. Жизнь его прервалась слишком рано, и наиболее глубокие его мысли, самые значительные из его художественных планов, в том числе потрясающий своей силой, простотой и психологической глубиной замысел драмы «Пьяница», сохранились лишь в беглых набросках. И над могилою непонятого поэта, из рассказов друзей о его склонности ко всяким мистификациям и непроверенных слухов о его высокомерном характере и замкнутой жизни, стала слагаться легенда, еще более отчуждающая от него простодушную публику.

Самые портреты его вызывали и вызывают в душе какое-то недоверчивое и опасливое ощущение. Большие темные глаза с сверлящим, испытующим взглядом, огромный умный лоб, чувственное выражение ноздрей и большого рта с иронически сжатыми, сладострастно змеющимися губами. Жуткая и притягательная сила чувствуется в этом загадочном лице, как и в произведениях Бодлера, но что-то стоит между поэтом и «непосвященным» читателем. «Боязнь разыграть простака пред лицом этого презрительного гения мешает полному преклонению перед ним», – говорит о нем Поль Бурже в своих *Essais de psychologie contemporaine*, выражая этим чувства публики и многих представителей литературы.

Но проходят годы и десятилетия, литература разных европейских стран глубже вскрывает природу человека со всеми антиномиями его души и разума, и общество смелее заглядывает в лицо всякой психологической правде. После Достоевского, с одной стороны, после Ницше, после Уайльда, после декадентов, с другой стороны, Бодлер уже не кажется страшным даже и заурядному, плохо понимающему его читателю. И более того: для некоторых кругов он приобрел особую привлекательность именно как первый из декадентов и даже как «Певец цветов зла».

Многие начали интересоваться им не только во Франции, но и в Германии, и в России, где за последнее время появилось сразу несколько переводов «Цветов зла», «Стихотворений в прозе» и книги о гашише и опии («Искания рая»). Поэту, который считал свое дарование по самому характеру его «безусловно непопулярным», который так чуждался дешевой популярности и в то же время с такой горечью и гневом говорил о людях, усмотревших в его стихах воспеание зла, в некотором роде угрожает дешевая и сомнительная популярность.

Но это лишь по недоразумению, которое при более глубоком знакомстве с ним должно развеяться. Опубликование его посмертных сочинений, в том числе его дневников, а затем –

в связи с исполнившимся в 1907 г. пятидесятилетием «Цветов зла», – некоторых новых биографических материалов и, главное, его «Переписки», позволяет глубже заглянуть в душу этого замечательного человека. Он перестает быть таким «загадочным». Он становится человеком-понятным в самых своих пороках и болезненных, необузданных страстях, из кипящего хаоса которых кричит, взывая к недостижимой красоте и недостижимому совершенству, голос такого благородного, и нежного, и сурового духа.

II

Печать глубокого трагизма лежит на всей судьбе Бодлера. Отец его, сын крестьянина, получивший прекрасное образование, друг Кондорсе, женился вторым браком на молодой девушке, сироте, будучи уже стариком. «Союз уродливый, патологический, старчески бессильный», – говорит об этом браке Бодлер, приписывая ему свой «отвратительный характер». Происхождение матери Бодлера не установлено, но он сам пишет в одном из своих отрывочных дневников: «Мои предки, сумасшедшие или маньяки, жившие в пышных хоромаш, все погибли жертвою своих необузданных страстей». Он унаследовал их страстность и нервозность.

Богато одаренный, с острым умом, с повышенной впечатлительностью, с необычайно развитыми внешними чувствами, он с детства был замкнут и меланхоличен. Ему было шесть лет, когда мать его, овдовев, вторично вышла замуж за офицера, сделавшего впоследствии блестящую карьеру. Ребенок был глубоко уязвлен: он любил мать горячею, ревнивою любовью, и в душе его рядом с этой любовью зажглась первая ненависть – он возненавидел отчима и рано порвал сношения с родными. Только после смерти отчима возобновились его сношения с матерью и развернулась та глубокая, трепетная нежность к ней, которая прорывается в целом ряде его писем.

Восемнадцати лет Бодлер вышел из коллежа и, решив отдаться литературе, начал жизнь фланера и поэта в компании нескольких молодых писателей. Жадный до впечатлений, чувственный и «влюбленный в серьезное», раздражительный, насмешливый и строгий себе, он уже тогда жил двойною жизнью: жизнью страстей, окрашенных цветами причудливой и извращенной фантазии, и беспощадного сознания и самоанализа. В первой написанной им повести *La Fanfarlo* есть строки, которые нужно отнести к нему самому: «Мы так старались проникнуть в софистику нашего сердца, так злоупотребляли микроскопом для изучения его уродливых наростов и омерзительных бородавок... что мы уже не можем говорить языком других людей. Они живут, чтобы жить, а мы – увы! – мы живем, чтобы познавать... Мы психологизировали, как сумасшедшие, которые усиливают свое помешательство, усиливаясь понять его...»

Он довольно рано начал писать стихи, но у него не было даже потребности печатать их: и тогда уже он искал и требовал от себя совершенства. Он любил сдержанность, изысканность, изящество во всем. Он одевался, как щеголь, и был благовоспитан как светский человек. В нем всегда жил аристократ – и рядом человек дерзкого протеста, человек богемы, не умеющий ввести себя в рамки упорядоченной жизни. Он был невероятно щепетил в исполнении всякой взятой на себя обязанности и считал себя аккуратным, но работал порывами, по ночам, и рано начал прибегать к возбуждающим средствам – вплоть до опия и гашиша, хотя презирал эти средств как подрывающие лучшее достояние человека – его волю. Он был чужд вульгарной откровенности в вопросах чувства и страстей, но, вопреки легенде о его необщительности, целыми днями способен был спорить с друзьями, излагать им свои мысли и фантазии.

Эта жизнь была прервана путешествием: родные, не желая, чтобы он посвятил себя литературе и надеясь отвлечь его от того образа жизни, который он вел, убедили его отправиться в Индию. Но он доехал только до острова Бурбон и, охваченный непобедимой меланхолией, вернулся. Краски и запахи далекого юга, которыми он потом грезил всю жизнь, в реальности – при стоянках корабля у незнакомых берегов – не захватили его. Никогда в жизни не знал он цельного, непосредственного наслаждения какою бы то ни было реальностью, но тоска о том, что лежит «за пределом возможного, за пределом известного» (стихотворение «*La voix*»), – была постоянным проявлением его беспокойного духа.

Вернувшись в 1842 г. в Париж, он ушел в работу. Он жадно читал, изучал художников слова и кисти. Четыре года спустя появились в печати его первые критические заметки и статьи о литературе и живописи. К этому же времени относится начало его восторженного увлечения

Эдгаром По, слава которого по свидетельству его друзей «стала ему положительно дороже его собственной» и над переводом которого он работал с перерывами около семнадцати лет. Его страстный увлечения, как и его привязанности вообще, были длительны и упорны, и самая его мысль о значении верности, можно сказать, зародилась в его сердце. «Я считаю верность одним из признаков гения», – говорит он в одном письме. Его отношение к Эжену Делакруа, заботливая привязанность к Манэ, его любовь к Бальзаку, Флоберу, Теофилю Готье, Сент-Беву длились всю жизнь. С двумя последними его связывала почтительная и нежная дружба.

Движение 1848 г. взбудоражило его душу, всегда готовую к возмущению. Революционные доктрины опьянили его. Он говорил, писал и действовал как истый революционер, хотя многое шло вразрез с окружающим. В дни Июньского восстания он был среди инсургентов. Эта полоса его жизни продолжалась до 1852 г. Тогда отвращение ко всему, что творилось вокруг, охватило его, сливаясь с его презрением к человеческой стадности с недоверием к человеческой природе, злые корни которой он ощущал в себе самом как нечто неискоренимое. Демократические идеи несовместимы с настоящим пессимизмом. В Бодлере взял верх пессимист. Огромный ум его со всеми экстазами его напряженной работы не мог разрешить для себя основных противоречий в социальных вопросах, как и в вопросах религии. Он презирал рассуждения атеистов и утилитаристов – они казались ему плоскими; он уважал представителей католицизма, как и других, даже языческих религий, и иронически отталкивал от себя всякую догму; он богохульствовал и молился «своему Богу». По его собственным признаниям в некоторых письмах и дневниках, он был неспособен молиться за других – за тех, кого он любил.

В поэзии он не допускал никаких гуманитарных и моральных тенденций. Но в своем природном благородстве он непосредственно сливал эстетические требования с нравственными. Отвергая установленные критерии добра и зла, неустанно работая умом над отысканием новых, он непосредственно как эстетик и поэт содрогался при виде всего, что делают люди и что делается в людях. «Что всего более ужасает человека со вкусом в зрелище порока, – говорит он, – так это его уродство, нелепость... Я не считал бы чересчур смелым признать, что всякое нарушение морали, прекрасной морали, есть особый вид преступления против ритма и просодии вселенной». Эта нравственная эстетика жила у него в нервах, и то сплошное нарушение законов красоты, какое представляет собою жизнь, непрерывно терзало болезненно чувствительные клетки его мозга. И периоды горячего возбуждения сменялись у него нервным упадком, отчаянием, беспросветной, удушливой тоской, «сплином», о котором так много говорится в «Цветах зла».

Признав человека безобразным, он готов был возненавидеть и самую природу. Не естественное, а «искусственное» – создание творческого духа человека, результат высочайшей культуры, неотступной сознательной работы, направляемой волею, – вот в чем лежат его последние упования. Но демон извращенных страстей владел его болезненными нервами и этот демон по-своему вторил его стремлению ко всему необычному, заставлял его отвергать все здоровое, доступное и гоняться за призраками или облекать прихотливой фантазией примитивную действительность, превращая и ее в ускользающий мираж.

Таков он в своих романических историях. Через всю его жизнь проходит связь с грубой, невежественной и развратной мулаткой Жанной Дюваль. Все его чувственное существо долгие годы было непобедимо приковано к этому источнику «экзотических ароматов». Ее легкомысленные измены вырывают у него крики бешеной ревности, ее жадность, вечные требования денег, которых у него никогда нет, доводят его порою до отчаяния. Но стихи его к ней полны не только чувственных галлюцинаций: в них слышатся стоны оскорбленной человеческой нежности. Он презирал естество женщины, он ненавидел страсть со всеми ее унижениями – и терзался страстью к этой женщине, загадочной для него в самой своей примитивности, и прощал ей все, без конца заботился о ней даже тогда, когда она стала старой и больной, мучился ее пороками и ее бедствиями до последних дней жизни. Однако ужасная действитель-

ность порою слишком обнажала себя. Омерзение к любовнице и к самому себе охватывало его. Жажда любви иной проникала в душу. Вопреки его предубеждению против женщин, высокие, чистые женские образы волновали его, влекли к себе как предмет религиозного поклонения. В течение пяти лет он пишет застенчиво-влюбленные анонимные письма прелестной, умной и благородной женщине, г-же Сабатье. Наконец она угадала автора стихов, которые он прилагал к своим письмам. Выход в свет «Цветов зла», произведенный ими скандал, окончившийся судебным процессом, неотразимое обаяние этой преследуемой книги раскрыли сердце г-жи Сабатье. Она полюбила Бодлера... Но цельность глубокой любви не дана была его больной душе. Он испугался новой страсти со всем тем, что она будила в его капризной чувственности. Очарование незапятнанно-прекрасного чувства рассеялось. С беспощадной и почти страдальческой искренностью признается он в этом г-же Сабатье. Восторг поэтического обожания к этой женщине сменился теплой, нежной дружбой.

А жизнь идет по-прежнему: Жанна Дюваль, горячая литературная работа, внезапно сковываемая тяжелым сплином, отвратительный терзания безденежья, вино, гашиш, ужасы бессонницы, кошмары, прорезываемые молниями идей и поэтических откровений, и мысли о смерти, страшной и спасительной.

Преследуемый возрастающей внутренней тревогой и долгами, совершенно невыносимыми при его щепетильности, Бодлер весной 1864 г. уезжает в Бельгию, надеясь поправить там свои дела чтением лекций о современных художниках и писателях. Но его лекции не имели успеха у бельгийской публики. Начинается последний, страшный период его жизни. Наследственная болезнь подбирается к нему. Нищета доходит до того, что ему не на что купить лекарства. Мысль лихорадочно работает в одиночестве. Тоска гложет сердце. Воспоминание о матери постоянно возвращается с острую нежностью – мучит страх потерять ее. Уродства прошлой жизни, преступления в отношении собственной воли, несделанные дела вновь и вновь встают в сознании. «Быть героем и святым – для себя...» – записывает в своем дневнике Бодлер. Вот последняя мечта его изнемогающей души.

Болезнь усиливается. Физические страдания и нервные страхи почти не прекращаются. Он пробует не сдаваться, не перестает заочно хлопотать об издании своих сочинений, пишет письма. Рука отказывается работать. Паралич одной стороны тела переходит в афазию – паралич памяти, язык звуков и знаков. Он лежит немой – никто не знает, что делается в его душе.

Его перевезли в Париж, в лечебницу. Целый год провел он там в ужасных и таинственных муках, явным образом не утрачивая разумного сознания, но не имея никаких способов выразить свои чувства, мысли и желания. Его окружали преданные друзья; в последние недели его жизни семидесятилетняя мать не отходила от его изголовья. Он тихо умер в ее объятиях. Ему было всего сорок шесть лет.

III

Для ознакомления с Бодлером русского читателя, не овладевшего тонкостями французского языка и потому не имеющего возможности ощутить утонченную прелесть его поэзии в оригинале, «Стихотворения в прозе» (*Petits poèmes en prose*) имеют особенное значение. «Цветы зла» вряд ли дождутся такого перевода, который отразил бы всю красоту и музыкальность бодлеровского стиха, не лишив его столь характерной для него силы и сжатости, не превратив в вычурную риторику, но и не обесцветив причудливых образов и смелых сравнений Бодлера. Чем неразрывнее содержание и форма его поэтического творчества, чем совершеннее и оригинальнее у него форма – тем неисполнимее по отношению к нему задача стихотворного перевода. «Стихотворения в прозе», при всей их внутренней ритмичности, все же представляют для переводчика одну трудностью меньше, а вместе с тем, если и не заключают отдельных вещей, равных по глубине поэтического мотива таким бессмертным стихотворениям Бодлера, как *Correspondances*, *L'aube spirituelle*, *Le Goût du néant*, – в целом проникнуты той же своеобразной художественной красотой, в такой же степени передают основные тона его настроений, характер его ума, особенности его стиля. В одном из своих частных писем от 1866 г. он сам говорит об этих стихотворениях в прозе: «В общем, это те же „Цветы зла“, но в более свободной, более детальной или же более шутильной форме». А в целом ряде других писем он подчеркивает, что томик стихотворений в прозе представляет собою в его глазах как бы pendant к «Цветам зла». Чем глубже мы проникаем в душу Бодлера, тем сильнее ощущаем вместе с редкостным ароматом его поэзии очарование ее внутренней правдивости, тем более научаемся ценить рядом с «Цветами зла» эти «Стихотворения в прозе». Каждая строка в них – со всем, что в них есть психологически-противоречивого, иногда болезненного, подчас экстравагантного, бьющего неожиданностью по нервам и поражающего обычное воображение, – родилась из интимных переживаний. Эта вереница небольших, законченных, столь разнородных по содержанию пьес, с таинственными или неожиданными заглавиями, которые поэт так любил, удивительно отражает душу Бодлера. Это его «я, ненасытно алчущее того, что лежит за пределами я», как он выражается в одной из своих критических статей; эта его манера воспринимать «фантастическую реальность жизни» – возмутительную и комическую, трогательную, жуткую и трагическую. Летучие, но острые впечатления и наблюдения в кратком повествовательном изложении чередуются здесь со страницами лирики, с ядовитыми сатирическими набросками, приближающимися к памфлету. На всем лежит яркий отпечаток личности поэта, многое представляет помимо художественного и автобиографический интерес. Такова, например, эта бесподобная маленькая вещь – «Призвания», изображающая четырех различных мальчиков: все они, как это можно было бы доказать на основании личных признаний Бодлера в его дневниках, так сказать, вышли из его собственной души, воплотив в себе противоречивые, с детства боровшиеся в нем инстинкты и склонности.

Таковы же «Двойная комната», «Суп и облака», рисующие тягостную двойственность в жизни поэта, и лирическая вещица «Полмира в волосах твоих», относящаяся к Жанне Дюваль и повторяющие тот же мотив, который мы находим в двух стихотворениях из «Цветов зла» – *Parfum exotique* и *La chevelure*.

Вообще, наиболее характерные мотивы «Стихотворений в прозе» зачастую встречаются и в других его произведениях, не только стихотворных, но и прозаических. Так «Приглашение к путешествию» под тем же заглавием, но в гораздо более сжатом виде, входит в «Цветы зла». Содержание «Горя старухи» и «Вдов» намечено уже в некоторых строфах знаменитого стихотворения *Les petites vieilles*. «Игрушка бедняков» представляет собою художественную обработку одной страницы из статьи *Morale du joujou*, «Фальшивая монета» развертывает мимолетное впечатление, отмеченное в литературно-критической статье *L'école païenne*. Мысль,

высказанную в пьесе «Толпа», особенно характерную для Бодлера, можно найти полностью и в большой статье его о К. Гюи под названием *Le peintre de la vie moderne*, и в статье об Эдгаре По, у которого есть целый рассказ на тему об общении с толпой. Наконец для людей, интересующихся процессами художественного творчества вообще и историей бодлеровского творчества в частности, нужно отметить, что зачатки многих «Стихотворений в прозе», каковы, например, «Галантный стрелок», «Потеря ореола», «Часы», «Глаза бедняков» и др., можно найти в дневниках Бодлера то в форме кратко выраженной основной мысли, то в виде наброска сюжета. Полное собрание «Стихотворений в прозе» вышло в свет только в посмертном издании сочинений Бодлера. Но он работал над ними в течение двенадцати лет, начиная с 1855 г., когда были впервые напечатаны две пьесы. В 1857 г. появилась под общим заглавием *Poèmes nocturnes* еще небольшая серия из шести вещей («Сумерки», «Одиночество», «Планы», «Часы», «Полмира в волосах твоих» и «Приглашение к путешествию»), а затем Бодлер продолжали работать над ними, печатая их небольшими группами в разных журналах и газетах. В 1861 г. он решил посвятить все эти пьесы известному писателю и редактору газеты *La Presse* Арсену Гуссэ, который сам написал несколько вещей в том же роде. В личных письмах к нему, относящихся к тому же году, Бодлер между прочим сообщает несколько вариантов общего заголовка, который должен был связать все стихотворения в прозе, а именно: *Le Promeneur solitaire*, *Le Rôdeur parisien*, *La lueur et la fumée*. Однако все эти заголовки были, очевидно, отвергнуты Бодлером, ибо в позднейших письмах он называет их общим именем *Spleen de Paris*.

В последние годы жизни, после переезда в несносный для него Брюссель, Бодлер не перестает работать над этим *Spleen de Paris*, но это становится все труднее. «Увы! – пишет он в мае 1865 г. Сент-Беву. – Поэмы в прозе, к которым вы вновь выказали такое поощрительное отношение, сильно задерживаются. Я вечно берусь за дела, представляющие огромные трудности. Сделать сотню тщательно обработанных безделушек, требующих непрерывно бодрого настроения (необходимого даже тогда, когда трактуемый сюжет сам по себе печален), своеобразного возбуждения, для которого нужны зрелища, толпа, музыка и даже яркое уличное освещение, – вот что мне хотелось сделать! У меня имеется всего шестьдесят – и дальше дело не идет...» Очевидно, что и из этих шестидесяти десять оказались незаконченной обработкой или даже были уничтожены самим Бодлером, потому что в посмертное издание вошло только пятьдесят из них. До последних рабочих дней своей жизни Бодлер не переставал отделять то одну, то другую из вещей, и уже в мае 1866 г., за три недели до того, как его ужасные первые и физические страдания окончились параличом, он писал: «О сплин!.. Сколько было волнений, сколько труда! И все-таки я недоволен некоторыми частями!»

Бодлер всегда был недоволен собой и всем, что он писал.

* * *

Предлагаемый перевод «Стихотворений в прозе» сделан несколькими лицами, которые из любви к Бодлеру не жалели времени на эту работу, стараясь передать подлинник с доступной им точностью и с сохранением ритма бодлеровской прозы. Стихотворение, заключающее собою книгу, как ее эпилог, переведено Влад. Волькенштейном.

Л. Гуревич

Посвящение. Арсену Гуссэ

Дорогой друг, посылаю вам небольшое произведение, о котором, по совести, нельзя сказать, что у него нет ни хвоста, ни головы, ибо как раз наоборот – каждая его часть может попеременно служить то головою, то хвостом. Обратите, пожалуйста, внимание на то, какие изумительные удобства представляет эта комбинация для всех нас: для вас, для меня и для читателя. Мы можем прервать в любой момент: я – свои мечтания, вы – просмотр рукописи, читатель – свое чтение, ибо я не связываю своенравной воли его бесконечной нитью сложнейшей интриги. Выньте любой позвонок, и обе части этого капризно извивающегося вымысла соединятся между собой без малейшего затруднения. Разрубите его на множество частей – и вы увидите, что каждая из них будет жить сама по себе. Вся надежда, что некоторые из этих отрезков окажутся настолько живыми, чтобы вам понравиться и позабавить вас, я дерзаю посвятить вам всего змея целиком.

Я должен сделать вам маленькое признание. Перелистывая по меньшей мере в двадцатый раз знаменитую книгу Алоизия Бертрана *Gaspard de la Nuit* (книга, известная вам, мне и нескольким из наших друзей, не должна ли считаться знаменитой?), я набрел на мысль – попытаться сделать нечто в том же роде, применив к изображению современной жизни или, вернее, духовной жизни одного современного человека, тот самый прием, который был применен им к описанию жизни былых времен, столь странной для нас и столь живописной.

Кто из нас не мечтал в часы душевного подъема создать чудо поэтической прозы, музыкальной без ритма и без рифмы, настолько гибкой и упругой, чтобы передать лирические движения души, неуловимые переливы мечты, содроганья совести? Из непосредственного знакомства с жизнью огромных городов, из постоянных столкновений с ее многообразными проявлениями – вот откуда возникает главным образом эта неотступная мысль. Не пытались ли вы сами, дорогой друг, воспроизвести в песне пронзительный крик Стекольщика и передать в лирической прозе те тоскливые настроения, которые навеивает этот крик, доносящийся до самых мансард сквозь густой туман улицы? Но, если сказать правду, боюсь, что это соревнование оказалось для меня не из счастливых. Едва начав работу, я заметил, что не только очень далек от своего таинственного и блистательного образца, но даже делаю нечто (если считать это хоть чем-нибудь), удивительно непохожее на него, – обстоятельство, которым всякий другой на моем месте, наверно, возгордился бы, но которое представляется лишь постыдным человеку, полагающему высшую честь поэта в осуществлении именно того, что было им задумано.

Сердечно преданный вам

Ш. Б.

Стихотворения в прозе

І. Чужестранец

- Кого ты больше всего любишь, скажи, загадочный человек? Отца, мать, сестру или брата?
- У меня нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата.
- Друзей?
- Смысл этого слова до сих пор остался неизвестен мне.
- Отчизну?
- Я не знаю, под какой широтой она находится.
- Красоту?
- Я любил бы ее – божественною и бессмертною.
- Золото?
- Я ненавижу его, как вы ненавидите Бога.
- Так что же ты любишь, удивительный чужестранец?
- Я люблю облака... летучие облака... в вышине... чудесные облака!

II. Горе старухи

Сморщенная старушка вся просияла, увидав хорошенького ребенка, которого все баловали и ласкали, – прелестное создание, столь же хрупкое, как и она, маленькая старушка, и как она безволосое и беззубое. И она подошла к нему, желая позабавить и приласкать его.

Но испуганный ребенок в ужасе стал отбиваться от ласк одряхлевшей женщины, оглашая дом своим визгом.

Тогда бедная старуха снова ушла в свое вечное одиночество и, плача в углу, говорила: «Ах! Для нас, несчастных и состарившихся женщин, прошла пора нравиться даже невинным младенцам, и мы внушаем отвращение маленьким детям, когда подходим к ним с лаской!»

III. Исповедь художника

Как глубоко проникает к нам в душу угасание осенних дней! О, как глубоко – до боли! Ибо есть очаровательные ощущения, смутность которых не исключает остроты, и нет жала более острого и язвительного, чем жало Бесконечности.

Какое великое наслаждение погружать взор в беспредельность неба и моря! Одиночество, тишина, бесподобная ясность лазури! Маленький парус, трепещущий на горизонте и в своей незначительности и затерянности напоминающий мое безнадежное существование, однообразный говор волн – все это мыслит во мне или я мыслю во всем этом (ибо в величавой грезе так быстро затеривается наше «я»!); да, все это, говорю я, мыслит, но мыслит звуками и красками, без доказательства, без силлогизмов, без выводов. Однако эти мысли – исходят ли они от меня или от окружающих меня вещей – скоро становятся слишком яркими. Напряженность наслаждения делается мучительной, причиняет почти физическую боль; мои чрезмерно натянутые нервы дают только кричащие болезненные ощущения.

И теперь глубина неба подавляет меня; прозрачность его лазури приводит меня в исступление. Бесчувственность моря, неизменность зрелища возмущают меня... О, неужели же нужно вечно страдать или вечно бежать от прекрасного? Природа, безжалостная чародейка, всегда побеждающая соперниц, оставь меня! Не испытывай далее моих желаний и моей гордости!.. Изучение прекрасного – это поединок; в страхе кричит художник перед своим поражением.

IV. Шутник

Это было шумное рождение нового года: хаос грязи и снега, пересекаемый тысячью движущихся карет, блистающий игрушками и сладостями, кишачий алчными пороками и разочарованиями; официальный разгул большого города, способный помрачить разум самого стойкого отшельника.

Среди всего этого беспорядка и суматохи быстрой рысцой трусил осел, подгоняемый парнем с кнутом в руке.

В ту минуту, когда осел огибал угол тротуара, какой-то франт в перчатках, в сногшибательном галстуке, весь точно лакированный, задыхающийся в тисках своего новенького платья, церемонно склонился перед смиренным животным и, снимая шляпу, произнес: «Позвольте пожелать вам счастливого и веселого Нового года!» Потом с видом удовлетворения обернулся, как бы обращаясь к каким-то сотоварищам и приглашая их поддержать его самодовольство одобрением.

Осел не заметил этого изящного шутника и продолжал бежать туда, куда призывал его долг. Меня же внезапно охватила безмерная ярость на этого великолепного глупца, который, как мне казалось, олицетворял собою остроумие всей Франции.

V. Двойная комната

Комната, похожая на грезу, поистине бесплотная комната, где вся недвижная атмосфера слегка окрашена розовым и голубым цветами.

Здесь душа погружается в лень, в ароматическую ванну лени, напоенной сожалениями и желаниями. Это что-то сумеречное, голубовато-розоватое; греза сладострастия во время затмения солнца.

Мебель здесь расплывчатая, удлинённая, томная. Она как будто грезит, живет какой-то сомнамбулической жизнью, подобно растениям и минералам. Ткани говорят немим языком, как цветы, как небеса, как заходящие солнца.

Но стенам – никакого художественного хлама. В сравнении с чистой мечтой, с непосредственным впечатлением, всякое законченное искусство, всякое положительное искусство – богохульство. Здесь во всем царит умеренная ясность и очаровательная смутность гармонии.

Неуловимый изысканный аромат с примесью легкой влажности пропитывает воздух, где дремлющий дух убаюкивается ощущениями оранжерейной теплоты. Кисея струями ниспадает вдоль окон и вокруг постели, расплываясь белоснежными волнами. На этой постели покоится Кумир, властительница грез. Но отчего же она здесь? Что привело ее сюда? Какая волшебная власть перенесла ее на этот трон мечтаний и сладострастия? Не все ли равно? Она здесь! Я узнаю ее.

Да, это ее глаза, огонь которых пронизывает сумрак, нежные и страшные глаза – я узнаю их по их ужасающему коварству! Они притягивают, они покоряют, они пожирают взор неосторожного смертного, их созерцающего. Я так часто изучал эти черные звезды, которые внушают любопытство и восторг.

Какой добрый гений окружил меня тайной, тишиной, покоем и благоуханиями? О блаженство! То, что мы обыкновенно называем жизнью, даже в самом счастливом ее проявлении не имеет ничего общего с этой высшей жизнью, которую я теперь познал, которой я упиваюсь минута за минутой, секунда за секундой.

Нет! Не существует более ни минуты, ни секунды! Время исчезло; вечность воцарилась, вечность блаженства!

Но вот раздался грозный, тяжеловесный стук в дверь и, как в адских сновидениях, мне показалось, будто меня ударили заступом в грудь.

И затем вошел Призрак. Это судебный пристав пришел терзать меня именем закона; или подлая содержанка явилась со своими требованиями, и прибавляет к мукам моей жизни пошлые мелочи своего существования; или это посыльный от какого-нибудь редактора, требующего продолжения рукописи. Райская комната кумира, властительница грез, Сильфида, как говорил великий Рене, – все это волшебство исчезло при грубом стуке Призрака. О ужас! Я очнулся! Я вспомнил! Эта конура, эта обитель вечной скуки – ведь это мое жилище. Вот нелепая мебель, запыленная и изломанная, потухший, холодный, заплесанный камин, унылые окна со следами дождя на пыльных стеклах, рукописи, испещренные пометками и растрепанный календарь, где отмечены карандашом зловещие сроки! И благоухание иного мира, которым я упивался с такой утонченностью – увы! – оно сменилось зловонием табачного дыма с примесью какой-то отвратительной плесени. Отовсюду веет затхлостью и запустением. В этом тесном, но преисполненном скуки и отвращения мире один только знакомый предмет улыбается мне: склянка с опиумом, старая, коварная подруга – как все подруги, увы, сулящая ласки и таящая измену.

О да! Время вошло в свои права; Время вновь стало властелином и вместе с отвратительным стариком вернулась вся его дьявольская свита: Воспоминания, Сожаления, Судороги, Страхи, Тоска, Кошмары, Гнев и Неврозы.

Поверьте, теперь секунды отчеканиваются громко и торжественно, и каждая из них, вылетая из часов, громко говорит: «Я Жизнь, невыносимая и неумолимая Жизнь!»

Есть только одна Секунда в человеческой жизни, которой дано нести благую весть, благую весть, внушающую всем неизъяснимый ужас. Да! Время царствует по-прежнему, оно снова провозгласило свою тяжкую диктатуру. И по-прежнему оно гонит меня, как вола, своей рога-тиной: «Ну тащись, скотина! Обливайся потом, жалкий раб! Живи, живи, проклятый!»

VI. У каждого своя химера

Под широким серым небом, на широкой пыльной равнине, где нет ни дорог, ни травы, ни даже репейника и крапивы, я встретил вереницу людей, которые шли, согнувшись. Каждый из них тащил на спине огромную Химеру, тяжелую, как мешок муки или угля или как вооружение римского пехотинца. Но не мертвой ношей было это чудовище, нет – оно сжимало, обвивало человека своими сильными, упругими мускулами, цеплялось за его шею длинными когтями и фантастическая голова его возвышалась над челом человека наподобие тех страшных шлемов, какие употреблялись древними воинами в расчете навести ужас на неприятеля. Я заговорил с одним из этих людей и спросил у него, куда же они идут? Он ответил мне, что этого не знает никто – ни он, ни другие, – но что, очевидно, они идут куда-то, ибо их подталкивает непобедимая потребность идти.

И странно: ни один из этих путников, казалось, не тяготился зверем, повисшим на его спине и вцепившимся в его шею, казалось, они смотрят на него, как на часть самих себя. На этих усталых, сосредоточенных лицах не видно было никакого отчаяния. Под тоскливым небосводом шли они, утопая в пыли равнины столь же печальной, как и это небо, шли с тупо покорным видом людей, которые обречены вечно надеяться. И шествие прошло мимо меня, потонуло вдали, на горизонте – там, где округленная поверхность земли ускользает от любопытного человеческого взора. И в течение нескольких минут я упорно силился постичь эту тайну, но скоро мною овладело непобедимое Равнодушие – и я согнулся под его тяжестью еще ниже, чем эти люди под давящим бременем своих Химер.

VII. Шут и Венера

Какой восхитительный день! Под жгучим солнечным оком огромный парк млеет, как юность под властью Любви.

Ни единым звуком не выдает себя восторг, разлитый во всем; воды – и те словно уснули. Непохожая на людские празднества, здесь свершается молчаливая оргия.

Кажется, будто все возрастает свет и все больше сверкают окружающие предметы, будто опьяненные цветы сгорают желанием соперничать с лазурью неба силою своих красок, будто от зноя стали видимы ароматы и возносятся к солнцу, как дым. Но вот среди этого всеобъемлющего упоения увидел я скорбное существо.

У ног громадной Венеры я увидел одного из тех нарочитых безумцев, одного из тех добровольных шутов, чья обязанность забавлять королей, когда их гнетет Раскаяние или Скука. Наряженный в блестящий и смешной костюм, с рогами и погремушками на голове, съездившись у подножия статуи, он поднял полные слез глаза к бессмертной Богине.

И глаза его говорят: «Я ничтожнейший и самый одинокий из смертных, лишенный любви и дружбы, более жалкий, чем самое презренное животное. А между тем и я, ведь и я создан, чтобы постигать и чувствовать бессмертную Красоту! О Богиня! Сжался над моей скорбью и моим томительным бредом!»

Но неумолимая Венера смотрит вдаль неведомо на что своими мраморными глазами.

VIII. Собака и флакон

Мой славный пес, мой добрый пес, мой милый песик, подойди и понюхай чудесные духи, купленные у лучшего в городе парфюмера.

И собака, помахивая хвостом, что, по моему мнению, соответствует у этих бедных существ смеху или улыбке, подходит и с любопытством прикладывает свой влажный нос к отверстию флакона, потом, внезапно попятившись в ужасе, начинает как бы с укоризною лаять на меня.

О презренный пес! Если б я предложил тебе сверток с пометом, ты бы стал нюхать его с наслаждением и, быть может, сожрал бы его. Таким образом недостойный товарищ моей печальной жизни, ты уподобляешься публике, которой всегда нужно преподносить не изысканные ароматы, ибо они раздражают ее, а старательно подобранные нечистоты.

IX. Плохой стекольник

Есть натуры чисто созерцательные и совершенно неспособные к действию, которые, однако, под влиянием какого-то таинственного, непонятного побуждения действуют иногда с такою стремительностью, на какую они сами не считали себя способными.

Человек, который из боязни найти у привратника огорчительное известие, малодушно бродит целый час перед дверью, не решаясь войти, который по две недели держит нераспечатанным письмо или полгода колеблется приступить к делу, необходимость которого выяснилась год тому назад, вдруг чувствует, что какая-то непреодолимая сила толкает его к действию, как стрелу, когда ее спускают с лука. Моралист и врач, претендующие на всезнание, не могут объяснить, откуда столь неожиданно появляется эта сумасшедшая энергия в таких ленивых и разнеженных душах и каким образом неспособные на самые простые и самые необходимые действия, они вдруг находят в себе избыток смелости для совершения самых нелепых, часто даже самых опасных поступков.

Один из моих друзей, безобиднейший мечтатель, поджег однажды лес, чтобы посмотреть, с такой ли легкостью занимается огонь, как это обыкновенно утверждают. Десять раз подряд опыт кончался неудачей, но на одиннадцатый удался, и даже слишком удался.

Другой закурил сигару у бочки с порохом, чтобы посмотреть, чтобы узнать, чтобы испытать судьбу, чтобы заставить себя проверить собственное мужество, чтобы рискнуть, чтобы изведать прелесть страха – словом, ни с того ни с сего, из каприза, от безделья.

Это вид энергии, порождаемый скукою и оторванностью от жизни; и те, в ком она проявляется так внезапно, по большей части, как я уже сказал, самые беспечные и ленивые, и самые мечтательные из людей.

Иной до того робкий, что опускает глаза даже при встрече с мужчинами и должен напрячь всю свою слабую волю, чтобы войти в кафе или подвергнуться контролю при входе в театр, где контролеры кажутся ему, как Минос, Эак и Радамант, вдруг бросится на шею проходящему мимо старику и восторженно расцелует его на глазах удивленной толпы.

Почему? Да потому... не потому ли, что его лицо показалось ему так неотразимо симпатичным? Возможно, но естественнее предположить, что он и сам не знает почему.

Я не раз был жертвой этих приступов, этих порывов, внушающих мысль о каких-то коварных демонах, которые вселяются в нас и заставляют нас исполнять свои самые нелепые веления. Однажды утром я проснулся мрачный, печальный, усталый от праздности, и, как мне казалось, способный совершить нечто великое, какой-нибудь великолепный поступок, и, на свое несчастье, я открыл окно.

(Прошу заметить, что дух мистификации отнюдь не является результатом предварительных размышлений или соображений, а внезапным вдохновением, и имеет много общего хотя бы по своей горячечной стремительности с тем состоянием, которое врачи называют истерическим, а люди, понимающие немного более демоническим, с тем состоянием, которое вызывает в нас неудержимое влечение ко всяким рискованным и неприличным поступкам.) Первый, кого я заметил на улице, был стекольник, пронзительный, режущий крик которого доносился ко мне сквозь густой грязный воздух Парижа. Впрочем, я не мог бы объяснить, почему меня вдруг охватила по отношению к этому бедняку такая внезапная и непобедимая ненависть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.